

Ю.Я. Керкис **Неизвестные страницы из жизни Н.И. Вавилова**

Эти несколько страниц из обширных воспоминаний генетика Юлия Яковлевича Керкиса (1917—1977), частично опубликованных¹, озаглавленных в рукописи «Большой дом», имеют особую ценность, так как позволяют пролить яркий свет на одну из до сих пор неразгаданных тайн поведения Николая Ивановича Вавилова в последние семь лет его жизни на свободе.

Совсем недавно, в ноябре 1987 г., когда под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 100-летие со дня рождения Вавилова, появилось множество публикаций, посвященных научной и общественной деятельности нашего великого соотечественника, превратностям его и прямой, и непростой, и светлой, и трагической жизни. Вавилов, казалось бы, уже весь разобран «по косточкам». Но одно обстоятельство вызывало не то чтобы некоторое недоумение у его безусловных почитателей и криво-толки у высокомерных ценителей чужих поступков, но и у тех, и у других некоторую неясность. Если отбросить их двусмысленные намеки или недвусмысленные умолчания, это должно было бы прозвучать как упрек или прямое обвинение Вавилова в легкомысленном потворстве могильнице советской генетики — лысенковщине и в споспешествовании карьере самого Лысенко. Одна из глав документального повествования о Вавиллове так и названа: «Ошибка академика Вавилова»². Можно было бы привести и другие примеры, но дело в том, что и автор упомянутого сообщения, и большинство других без вины виноватых биографов Вавилова приходили к такому парадоксальному выводу из-за невозможности в эпоху волюнтаризма, а затем застоя, откровенно порассуждать на эту тему с читателем и даже с самим собою (вспомним так называемого «внутреннего редактора» А. Т. Твардовского). Правда, среди воспевателей Вавилова нашлись психоаналитики, которые из хорошо понятных соображений слегка, как говорится, передергивали если не сами факты, то их нюансировку. Не откровенная ложь, а тонкие неверные замечания, как это давно сформулировал Г. Лихтенберг, вот что препятствует постижению истины. Так родилась на свет нелепая инсинуация, будто сами генетики во главе с Вавиловым и Н. К. Кольцовым своими научными ошибками, идейными заблуждениями, тактическими и стратегическими промахами способствовали возвышению Лысенко и его пособников и заставили ошибиться государственное руководство и в выборе научных направлений, и в оценке человеческих качеств. Все это, конечно, чушь. Но некоторые факты из жизни как Вавилова, так и Кольцова как бы подтверждали справедливость этого парадоксального тезиса.

Вот эти факты. В Академии, и в Украинскую и во Всесоюзную, Лысенко выдвигал Вавилов. Когда некоторые, в частности Кольцов, требовали безоговорочного осуждения лысенковщины, Вавилов — это было в 1936 г.— воздержался, не голосовал против Лысенко. И до этого заявлял публично и многократно, что в лысенковских спекулятивных построениях что-то полезное есть.

Совместимо ли это с бесспорной и однозначной оценкой Вавилова как человека не просто принципиального, но и мужественного, даже бесстрашного, доказавшего это не только в полных опасностях и границах с необузданным авантюризмом его путешествия «по шарик»! Как это совместить с его девизом, подтвержденным неоспоримым жизненным подвигом: «Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся!»?

Увы, относясь с безграничным обожанием к своим героям, мы часто сотворяем из них кумиров и не прощаем им поступков, не укладывающихся в рамки обывательского максимализма. Мы, может, и не высказываем этого вслух, но в душе сетуем на Галилея, что он не отважился на подвиг Джордано Бруно. Даже умные люди (в том числе и писатели) в самоотречении Галилея видят проблему, которой нет.

Один из снисходительных почитателей Вавилова, кстати близко его знавший, вспоминает, как он звал Вавилова на открытую борьбу с Лысенко, а Вавилов от нее уклонялся, ссылаясь на то, что спорить с Лысенко — это спорить с самим «вождем народов», и добавлял: «Быть в оппозиции к взглядам И. В. Сталина, хотя бы в области биологии,— это вещь неприятная». В доказательство своей пронизательности и правоты оппонент Вавилова приводит в пример маршала Г. К. Жукова, который-де спорил с Верховным Главнокомандующим. Но Жуков, как он сам поведал в обстоятельных и непростых наших дорогах в печать мемуарах, проявлял совсем не безудержную самостоятельность суждений, а если и проявлял, то не в сомнительных случаях. А когда он ее все-таки проявил, и даже в куда более безопасные времена, в «оттепель», это хоть и не стоило ему головы, но

¹ Керкис Ю. Я. Своими руками // Природа. 1988. № 5. С. 81—86.

² Поповский М. 1000 дней академика Вавилова // Простор. 1967. № 7. С. 13—21.

отставки стоило. Вавилов же, как известно, поплатился за самостоятельность суждений не отставкой, как Жуков.

«Конформизм» Вавилова не был конформизмом Комарова, Баха, Опарина, Келлера и многих других академиков, хотя и не был неконформизмом Кольцова, Прянишникова, Капицы, Рапопорта. И причиной тому — одно немаловажное обстоятельство. О нем-то спустя много лет и сообщает Ю. Я. Керкис.

Так в наших руках оказалось первое и бесспорное свидетельство, что Николай Иванович Вавилов был не только гениальным ученым, великим организатором науки, но и мудрым политиком.

Теперь часто говорят: политика есть искусство возможностей. Вавилов владел этим искусством вполне. Поняв еще в 1933 г., что обречен, Вавилов использовал все свое искусство, чтобы удержаться «на плаву» как можно дольше и уберечь от погрома два института, сельскохозяйственную академию, огромную интродукционную и генетико-селекционную опытную сеть, сотни и тысячи сотрудников-единомышленников, всю генетику. И ему удавалось это до августа 1940 г. Кольцов же с его прямолинейностью — да не поставлено будет ему это в укор — из-за своей лютеровской непримиримости был вышвырнут из большого дела гораздо раньше.

Благодарно вспоминаю младшего товарища, сотрудника, сподвижника Вавилова — Юлия Яковлевича Керкиса, с огромным риском выполнившего тяжкую нравственную миссию в страшные 30-е годы и мужественно донесшего эту историю до нас и тем самым стершего белое пятно в биографии Вавилова, мы рады тому, что сегодня можем предать бесценное свидетельство гласности. Мы благодарим А. Ю. Керкиса, сына Ю. Я. Керкиса, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР, передавшего в «Природу», с которой когда-то тесно сотрудничали и Вавилов, и Керкис-старший, этот материал, который до последних дней по понятным соображениям не доверялся даже глазу машинистки.

ЭТО началось 21 июня 1933 г. От рака печени умирала моя мать. Она уже агонизировала. Утром 22 июня она скончалась. Мать умирала дома, и на работу я уже несколько дней не ходил. В середине дня 21 июня меня позвали к телефону. Очень вежливый мужской голос извинялся за беспокойство не вовремя, но тем не менее, ввиду крайней необходимости, просил меня срочно приехать в «Большой дом» на Литейном проспекте — так называли тогда в Ленинграде новое огромное здание ГПУ. Разговаривавший со мной сказал, что ему известна тяжелая обстановка у меня дома, но что меня долго не задержат, что пропуск уже готов и что машина, которая будет за мной послана, сразу отвезет меня обратно. Я был предупрежден, что никто из моих домашних об этом звонке не должен знать, мне еще раз повторили, что моя отлучка из дома будет очень недолгой, попросили не волноваться и опять извинились, что тревожат меня в такое тяжелое для меня время.

В 1933 г. массовых арестов еще не было. Однако такой вызов не сулил ничего хорошего. Я не успел даже прийти в себя, как раздался звонок и мо-



Ю. Я. Керкис. 30-е годы.

лодой человек в штатском сказал, что за мной пришла машина. Я сразу понял, что во время телефонного разговора машина была уже возле дома. Я успел сказать жене, что ненадолго уйду из дома, и мы вышли. Жили мы тогда в Ленинграде на Васильевском острове, на 10 линии № 25, это угол Среднего Проспекта. Ма-

шина стояла за углом на Среднем.

Пропуск мне вручил в машине сопровождавший меня товарищ. Он же проводил меня на 3-й этаж и любезно открыл передо мной одну из многочисленных дверей, не постучавшись. Сопровождавший меня в комнату не вошел.

В скромном, но хорошо обставленном кабинете, сидел за письменным столом средних лет человек в полувоенной форме. Я его раньше никогда и нигде не видел. Он сразу встал из-за стола и пригласил меня пройти в соседнюю комнату, дверь в которую была из этого кабинета. Это была небольшая, по-казенному «уютно» обставленная наподобие гостиной комната: два мягких кресла, небольшой круглый столик, большой мягкий ковер. На столике был накрыт завтрак на двух человек, бутылка какого-то вина и раскрытая коробка с папиросами.

Пригласивший меня товарищ был предельно любезен со мной, и когда я, отказавшись от завтрака, попросил быстрее перейти к делу, так как дома меня ждут, еще раз извинился, сказав, что ему все известно, и примерно следующими словами изложил мне причину моего вызова.

— Мы вас знаем как честного советского человека и способного молодого ученого,— сказал он мне.— Вы работаете в лаборатории, которую часто посещают иностранные ученые (в ближайшее время ожидался приезд к нам на 3 месяца Кальвина Бриджеса¹ из лаборатории Моргана² в США; Вавилов уже вел переговоры о переезде к нам навсегда Меллера³, находившегося тогда в Германии), вам приходится вращаться в кругу крупных советских ученых. Мы живем в капиталистическом окружении, и нам надо быть начеку каждый день. Зная вас и всех ваших близких, включая семью проф. А. А. Заварзина⁴ (на дочери которого я был женат⁵), как людей, полностью заслуживающих доверия и расположенных к Советской власти, мы просим вас ставить нас в известность обо всем, что может представлять для нас интерес с точки зрения функций, выполняемых ГПУ.

Хорошо помню, что, выслушав все это, я довольно неприветливо выразил свое удивление по поводу того, что меня вызывали по этому делу в такой тяжелой для меня день и что, по-моему, этот разговор можно было отложить. В ответ на это мне была дана для подписи бумага, в которой было написано, что я обязуюсь не разглашать мой вызов в ГПУ и что мне сообщено об ответ-

ственности за нарушение этой подписки. Меня предупредили, что иногда меня будут беспокоить по телефону от имени разговаривавшего со мной человека, но чтобы я этого имени вслух не называл и сохранял при разговоре полное спокойствие. После этого меня на той же машине отвезли домой, высадив не у подъезда, а опять за углом на Среднем. Все это заняло меньше часа.

О моем вызове я сразу рассказал жене. Через несколько дней я рассказал об этом А. А. Заварзину, а позднее Н. И. Вавилову. Больше про это никто не знал. И тот, и другой, совершенно независимо друг от друга, сказали мне, что дело это обычное, а Николай Иванович даже рассмеялся и сказал: «Ну, вот и ты, брат, попался на крючок». Я спросил Николая Ивановича, что будет дальше. Он объяснил мне, что время от времени меня будут вызывать, но не в «Большой дом», а в разные места и требовать от меня «сведений». На мой вопрос, что же мне делать, Николай Иванович ответил, что, сколько он меня знает, я порядочный человек, доносов писать, наверное, не буду, и, следовательно, действовать надо смотря по обстоятельствам и очень обдуманно. Николай Иванович «успокоил» меня тем, что в такой переплет попадает очень много людей и что к этому надо относиться возможно спокойнее.

Три или четыре месяца меня никто не тревожил, и я уже начал забывать о происшедшем. За это время приехал и работал у нас Бриджес и был положительно решен вопрос о приезде к нам в конце года Меллера. Меллеру была подготовлена отличная квартира в том же доме, где помещалась лаборатория, а меня, как знающего английский и немецкий языки, Вавилов определил в гиды Меллеру до тех пор, пока он не освоится с Ленинградом.

Но меня не забыли. Однажды мне позвонили в лабораторию и назначили время для свидания в одной из квартир в большом П-образном доме на тогдашней ул. Бассейной, против сада «Прудки». Попросили приехать точно в указанное вре-

мя. Мне открыл двери человек средних лет в штатском. Квартира имела явно нежилой вид, хотя и была обставлена, как жилая. Человек, открывший мне двери, назвал себя и сказал, что нам придется работать с ним вместе. От меня стали попытываться, что собой представляет Бриджес, чем он занимается, с кем встречается. Я добросовестнейшим образом постарался объяснить, что Бриджес обучает нас, главным образом А. А. Прокофьеву⁶, методам исследования гигантских хромосом в слюнных железах дрозофилы и что овладение этими, еще неизвестными у нас возможностями для нас крайне важно. На вопрос, что собой представляет, по моему мнению, Бриджес, я ответил, что он очень милый и приятный человек. На этом первый разговор закончился, и меня проводили через кухню на черную лестницу. (Старые квартиры в Ленинграде до сих пор имеют два входа — парадный с улицы и черный, через кухню, со двора.) Визит этот не произвел на меня слишком неприятного впечатления, и я несколько успокоился.

Через недели две или три меня вызвали опять по тому же адресу. Разговаривал со мной все тот же человек. К этому времени у А. А. Прокофьевой и Бриджеса завязался «романтик», и они вместе просиживали в лаборатории до позднего вечера. На вопрос, что делает Бриджес и какое у него настроение, я ответил, что он много работает, очень много дает нам, но что он жалуется на бедную обстановку в лаборатории и, главное, на недостаточно совершенные микроскопы, не позволяющие видеть на препаратах нужные детали. Все это было чистой правдой, однако эта информация никакого впечатления не произвела. Мне был задан вопрос, кто близок с Бриджесом. Я ответил, что все мы в одинаково хороших с ним отношениях и стараемся, как можем, развлекать его. Из реакции

¹ К. Бриджес (1889—1938), американский генетик, член Национальной академии наук США. Один из участников классических работ под руководством Т. Моргана, заложивших основы хромосомной теории наследственности (1912—1923). (Здесь и далее прим. ред.)

² Т. Х. Морган (1866—1945), американский зоолог и генетик. Создатель хромосомной теории наследственности. Лауреат Нобелевской премии (1933). С 1932 г. иностранный член Академии наук СССР.

³ Г. Дж. Меллер (1890—1967), американский генетик, лауреат Нобелевской премии (1946).

⁴ А. А. Заварзин (1886—1945), академик, гистолог: с 1922 по 1936 г. заведовал кафедрой Военно-медицинской академии в Ленинграде.

⁵ Наталья Алексеевна Заварзина, жена Ю. Я. Керкиса.

⁶ А. А. Прокофьева-Бельговская (1903—1984), член-корреспондент Академии наук СССР, цитогенетик.

на мои ответы мне стало ясно, что мой собеседник информирован во всех деталях, и мне пришлось объяснить, что в близости Прокофьевой к Бриджесу я не усматриваю ничего специфического, а что это простой роман интересной и любящей, чтобы за ней ухаживали, молодой женщины с таким же мужчиной. Это не очень понравилось, и мне было задано несколько вопросов об отношениях между Вавиловым и Бриджесом. Я сказал, что несколько раз присутствовал при встречах в лаборатории, а также дома у Вавилова, но ничего предосудительного в их разговорах не замечал. Мне было предложено помнить, что «иностранны зря к нам не ездят и, принимая их, надо проявлять величайшую бдительность». Я ответил, что я это имею в виду, но тем не менее ничего «такого» я в поведении и разговорах Бриджеса не замечал. В этот второй визит я естественно ощутил, что разговаривающий со мной обладает очень подробной информацией обо всем, что делается в лаборатории, включая содержание отдельных разговоров между сотрудниками, сотрудниками и Бриджесом, Бриджесом и Вавиловым. Исходя из задававшихся мне вопросов, мне приходилось лишь комментировать эти разговоры. Но так как в них не было ничего предосудительного, то эти комментарии не затрудняли меня, тем более что я их старался направлять «на пользу дела» в том смысле, чтобы ГПУ получало бы максимум информации о рабочих и бытовых трудностях, с которыми встречаются иностранные ученые, работающие у нас.

Я отчетливо понял две вещи: если я буду врать, то меня без труда поймут на этом, так как кто-то, кроме меня, дает информацию значительно более подробную, чем я. Второе, что я тоже понимал очень отчетливо, — им нужна не та «мелочь», о которой я рассказываю, а сведения, специфически интересующие ГПУ. Моя же информация их просто раздражала. Другой же у меня не было. Я чувствовал, что это неизбежно приведет к конфлик-



Г. Меллер среди сотрудников своей лаборатории в Институте генетики. В первом ряду слева направо: К. Офферман, Г. Меллер, ? , Р. Раффел, Д. Раффел. 1933 г.

ту. Я посоветовался с Николаем Ивановичем. Он одобрил «направление моих действий» и сказал, что когда они поймут, что того, что им надо, они от меня не получают, то сами отцепятся.

Осенью 1933 г. приехал Меллер. Он только что пережил в Германии фашистский переворот с пожаром рейхстага, был полон впечатлений и, будучи, с одной стороны, человеком крайне левых убеждений, а с другой — исключительно эмоциональным и живым, старался при каждом удобном случае поделиться переживаниями с окружающими его людьми. Меллер приехал в Ленинград не только со своей семьей (женой, сыном) и любимым ассистентом — аргентинцем Карлосом Офферманом, но и с квартирной обстановкой и легкой машиной. Меллер очень не любил одиночества, он всячески стремился проявить свою активность везде, где считал это возможным для себя. Делал он все это с позиций искреннего друга Советской власти, увидевшего своими глазами все «прелести» начинающегося фашизма в Германии. Меллер выступал в печати, перед сту-

дентами. Делал он это очень эмоционально. Он был человеком, достаточно хорошо философски подкованным, хорошо знающим труды В. И. Ленина, и все его выступления привлекали массу народа. Многие искали с Меллером контактов, причем для всех он находил время. Меллер тяготился плохим знанием русского языка (по-английски и по-немецки говорили у нас тогда немногие) и активно искал общество, с которым он мог общаться на родном языке. Такое общество, кроме всегда очень занятого Вавилова, он нашел в лице тогдашней сотрудницы ВИРа Елены Карловны Эмме⁷, дамы очень общительной. Она познакомила Меллера с английским консулом в Ленинграде, у которого собирались другие дипломаты. В этом кругу Меллер бывал довольно часто, рассказывал мне о проходивших там вечерах и пирушках. Вавилов был с Меллером предельно близок. Он хорошо понимал, что эта общительность

⁷ Е. К. Эмме (1887—1948), зоолог, генетик.

Меллера не будет нравиться органам надзора, но понимал также, что в поведении Меллера нет ничего предосудительного, что он наш искренний друг и доброжелатель, и поэтому не считал нужным и возможным как-либо ущемлять Меллера в свободе поведения. Это же относилось и к повышенному интересу Меллера к женскому полу. В семье у него явно что-то не ладилось, и он искал выхода своему темпераменту на стороне. В конце концов он нашел его в лице милой девушки-англичанки, принятой Вавиловым на работу в качестве секретарши и машинистки для Меллера. Вся эта ситуация не вызвала никаких волнений ни у Вавилова, ни у меня, так как Меллер был с нами обоими вполне откровенен, не исключая своих личных дел. Меня и Вавилова это даже несколько шокировало и удивляло, но таков был Меллер со своей поразившей всех прямоотой, эмоциональностью и темпераментом.

Я хорошо понимал, что поведение Меллера известно работникам «Большого дома» и может расцениваться не с наших с Н. И. Вавиловым позиций. Надо напомнить, что к концу 1933 г. начала уже обостряться атмосфера на философском фронте, особенно в отношении оценки ламаркизма и начинавшейся уже тогда критики основ генетики подымавшимися в гору Лысенко и окружавшими его философами типа недоброй памяти Презента⁸. Все это видел Меллер и на все очень бурно и однозначно реагировал.

В то время у нас в лаборатории была группа аспирантов из так называемой Красной аспирантуры, т. е. выдвинутых в науку с производства. Среди них была и широко известная в партийных кругах Академии наук Н. и ряд других обще-

ственно очень активных молодых людей, приехавших с периферии, главным образом из Белоруссии. Все эти товарищи хотя и гордились тем, что работают у Меллера, однако относились к нему с явным недоверием, как к пришельцу с капиталистического Запада. У меня было достаточно оснований думать, более того, я был совершенно уверен, что некоторые из них, в частности Н., деятельность которой мы хорошо знали и которую мы в своем кругу звали Позорцевой, могут быть источником столь желанной, хоть и надуманной специфической информации, на которой так настаивали органы ГПУ.

В середине 1934 г. Меллер с согласия Вавилова пригласил в Ленинград своих друзей американцев Раффеля с женой. В научном отношении они ничего собой не представляли. Это были просто хорошие и приятные, хотя и состоятельные люди, интересовавшиеся Советским Союзом. Раффел помогал Меллеру работать в лаборатории и часто сопровождал его в театрах, в гостях, в поездках по стране. Причины пребывания у нас Раффеля многим были непонятны, а хлопот он доставлял всем порядочно, так как надлежащее бытовое устройство иностранцев в те годы было делом достаточно сложным. Н. усматривала во всем этом меллеровскую и вавиловскую блажь и относилась к Раффелю и его супруге явно недружелюбно и с подозрительностью. Это еще больше осложняло ситуацию.

Я и Наташа жили на нервах «от звонка до звонка». К счастью для меня, они были не слишком часты. Сменился человек, приглашавший меня на свидания. Перемена была к худшему. Этот был груб и откровенно выражал свое неудовольствие моим поведением. Приходилось выслушивать упреки в близорукости, аполитичности, в нежелании выскочить в окружающую меня обстановку глубже и с классовых позиций и т. д. и т. п. Я же строго придерживался взятой линии и старался показать, к каким нежелательным последствиям могут привести необос-

нованные нападки на генетику, глупые выступления философов и т. д. Это было наивно, так как я хорошо понимал, что не этого от меня ждут. В очередной «визит» на меня уже кричали. Я уловил даже намеки угроз и обвинений в предательстве. Состояние мое было совершенно отчаянным, и я опять пошел за советом к Николаю Ивановичу. Он сказал мне, как и всегда любил говорить: «Держись, хвост держи морковкой, вот переждем в Москву (тогда уже был решен вопрос о переводе АН из Ленинграда в Москву в конце 1934 г.), все прекратится само собой, отцепятся».

1935 год мы праздновали уже в Москве, вместе с Меллером и Раффелями, в гостинице «Метрополь», в очень пестрой компании иностранцев, главным образом, дипломатов. Мы с женой были гостями Меллера и первый раз веселились в такой необычной для нас обстановке. Не прошло и месяца, как мне позвонили в институт с Лубянки и пригласили зайти. Разговаривал со мной какой-то товарищ в полувоенной форме, подписки от меня никакой не взял и сказал, что со мной будет встречаться их сотрудник. Я понял, что надежды Николая Ивановича на то, что «хвост» не потянется за мной из Ленинграда в Москву, не оправдались. В первый же приезд Вавилова в Москву мы заперлись с ним у него в кабинете и советовались, как мне вести себя дальше. Совет Н. И. был такой: продолжать прежнюю линию, а там видно будет.

Поводов для недовольств и возмущения у Меллера было уже более чем достаточно. Критики генетики распоясывались все больше и больше, начались аресты среди ученых, появлялись все новые и новые дела о «врагах народа». В Ленинграде, и не только там, начались массовые репрессии после убийства т. Кирова. Скрыть все это от Меллера было невозможно, а его реакция на все эти события была очень болезненной. Он, не стеснясь, высказывал вслух свое отношение ко всем этим событиям, принимая их очень близко к

⁸ И. И. Презент (1902—1962), идеолог лысенковщины, академик ВАСХНИЛ с 1948 г. Заведующий кафедрой методологии биологии Ленинградского университета (1930—1935); кафедрой дарвинизма ЛГУ (1943—1951) и кафедрой дарвинизма МГУ (1948—1950); декан биолого-почвенного факультета МГУ (1948—1950).

сердцу, и требовал рационального объяснения их подоплеки. Несколько раз меня вызывали «на свидание» в какую-то захолустную квартиру в старом-престаром доме на нынешней ул. Кирова. Там со мной разговаривал уравновешенный человек, внимательно слушавший меня и спокойно выражавший неудовлетворенность моей деятельностью. Я ему столь же спокойно говорил, что ничего большего я сообщить не могу. На этом мы расставались.

Общая же атмосфера кругом становилась все тяжелее и тяжелее. Соответственно и недовольство, и недоумение Меллера. Чувствовалось приближение «ежовщины» — страшного периода в послереволюционной истории нашей страны. В поведении Меллера произошли заметные перемены, он стал замкнутым, стал меньше бывать в лаборатории. Впоследствии стало известно, что Меллер осваивает в Институте переливания крови методы консервации крови. В 1937 г. в разгар «ежовщины» и событий в Испании, Меллер уехал в Испанию, где организовал и руководил службой переливания крови в республиканских войсках. После победы Франко Меллер вернулся в Москву в очень подавленном состоянии и в конце 1937 г. уехал в Эдинбург, куда он вскоре увез свою семью. Больше в СССР он не приезжал.

Лубянка же не давала мне жить. В последний период мне приходилось иметь дело с отвратительнейшей личностью, принимавшей меня у себя дома в комнате в коммунальной квартире в каком-то переулке возле Никитских ворот. Свидания происходили по утрам, после ухода на работу членов его семьи, а детей в школу. Человек этот был до ужаса неопрятен, а комната невероятно грязна и просто вонюча. После первого же свидания я понял, что дело идет к развязке. Играя наганом, от меня откровенно требовали доносов, упрекали меня в том, что «по моим материалам еще не посадили ни

одного человека», меня пытались убедить, что я живу в окружении врагов, которых я умышленно не хочу назвать... Я же упорно продолжал свою линию, благо поводов для этого было более чем достаточно. Но все направлялось мной не на тех, на кого было нужно. Я понял, что так долго продолжаться не сможет и все кончится моей «посадкой».

И я опять пошел к Николаю Ивановичу. Выслушав меня, он на этот раз уже не отшучивался. Совет его был таков: при следующем вызове разругаться и потребовать свидания с начальством на Лубянке. Я так и сделал. Воспользовавшись тем, что очередной разговор со мной опять сопровождался постукиванием рукоятой нагана по столу, я учинил скандал и отказался разговаривать. Дней через десять меня вызвали на Лубянку. Разговор был очень сухой, но вежливый. Я сказал, что не могу писать доносы, не имея для этого оснований. Мне дали подписать бумагу, в которой было написано, что наши отношения с ГПУ не подлежат разглашению, заверили, что меня больше беспокоить не будут, но предупредили, что это право за собой оставляют в случае необходимости. На этом мы расстались. Николай Иванович сказал мне: «Теперь от тебя либо отстанут, либо посадят». Я ждал второго, и до сих пор не понимаю, почему это не произошло в период, когда исчезали сотни и тысячи окружающих людей. От меня отстали и не посадили... Это был жуткий период в моей жизни, о котором я вспоминаю с содроганием. Я не знаю, как я вынес бы все это, если бы не буквально отеческая поддержка Николая Ивановича, если бы не его мудрые советы с самого начала и до конца.

Николай Иванович прекрасно знал и глубоко понимал жизнь и сложнейшую обстановку тех дней. Мы очень сблизились с ним, и я много раз имел возможность еще и еще раз узнать и убедиться, каким он был замечательным не только

ученым и организатором науки, но и просто добрым и хорошим человеком, большим другом всех порядочных людей. Впоследствии, когда в 1939 г. генетика была объявлена лженаукой и стало ясно, что устоять против надвигающихся темных сил, вероятно, не удастся, Николай Иванович говорил мне, что он чувствует, что вокруг него плетут сети и что добром все это не кончится. Как все это кончилось — об этом сейчас знают все... По логике вещей эта участь должна была постигнуть и меня, но этого почему-то не случилось. Меня не трогали.

Много лет спустя, после смерти Сталина и прихода к власти Хрущева, когда началась реабилитация невинно осужденных при режиме культа личности Сталина, меня вызвали в районное отделение КГБ. Это было в Таджикистане, в Пархарском р-не, в бытность мою директором совхоза «Гиссар». Хорошо знакомый мне начальник КГБ объяснил мне, что он имеет задание Москвы допросить меня в связи с делом посмертной реабилитации Елены Карловны Эмме, бывшей в свое время в дружеских отношениях с американцем Меллером и академиком Вавиловым и с которой, по имеющимся данным, я часто встречался. Я написал, что ничего предосудительного о Е. К. Эмме мне не известно, и кратко описал характер взаимоотношений между упомянутыми выше лицами. Позднее я с радостью узнал, что Эмме была реабилитирована. Ее уже не было в живых, но это было очень важно для ее сына Андрея Макаровича, которого я тоже хорошо знал, когда он был еще мальчишкой и для которого все дороги до реабилитации его матери были наглухо закрыты.

Из этого эпизода я сделал для себя вывод, что где-то в архивах я существую в качестве порядочного человека, мнение которого оказалось нужным при решении вопроса о реабилитации. Это явилось для меня некоторым утешением...